
ЭЛЛА КРАЙТ
Она читала мелкий прифт. Он его написал.
НЕВЕСТА
ПО ЧУЖОМУ
ДОГОВОРУ
18+

Элла Крайт

Невеста по чужому договору

«Автор»
2026

Крайт Э.

Невеста по чужому договору / Э. Крайт — «Автор», 2026

Марго Севастьянова двадцать семь лет составляет договоры для чужих чудес. В её мире силу берут в долг, клятвы заверяют маги-нотариусы, а просрочка отражается на душе. Она не подписывает ни строчки, не проверив запятых: дьявол прячется в мелком шрифте — особенно если он выведен кровью.Однажды она находит своё имя в чужом брачном контракте. Чужая сделка, чужой жених — но магии всё равно. Подпись принята. Сторона вторая.Жених — Кассиан Тарн, лорд приграничного Тарнхейма: слуги не говорят, свечи гаснут сами, над его именем тяготеет проклятие и долг имени. До зимнего солнцестояния — считанные дни, платить по чужому счёту предстоит ей.Марго намерена прочитать сделку до последней точки и переиграть всех. Но главный пункт этого договора не написан на бумаге — и пером его не вычеркнешь.Любовь нельзя заверить у нотариуса. Или можно?В книге: холодная героиня-юрист, молчаливый и слишком внимательный лорд, магия с настоящей ценой, медленное жжение. 18+

© Крайт Э., 2026
© Автор, 2026

Элла Крайт
Невеста по чужому договору

Глава 1

НЕВЕСТА ПО ЧУЖОМУ ДОГОВОРУ

ГЛАВА 1. МЕЛКИЙ ШРИФТ

Романтическое фэнтези · 18+ · редакция 2 · 12 194 знака с пробелами

Я читаю то, что другие подписывают не глядя.

Это не дар и не чудачество — так было бы скромнее. Это профессия. Мне двадцать семь, семь из них — договорное право, и за это время я усвоила главное: дьявол прячется не в деталях. Дьявол прячется в приложении номер три, пункт четыре, подпункт «б».

В тот вечер я вылавливала его именно оттуда.

Переговорная на двадцать третьем этаже, стеклянный стол, за окном — декабрьская ночь, далеко внизу горело кольцо Садовой. Сторона контрагента — трое мужчин в одинаковых костюмах и с одинаковыми лицами, будто их отутюживали вместе с пиджаками. Сделка простая: моя клиентка продаёт склад, их компания покупает. Простые сделки — самые опасные. В них расслабляются.

За час до этого я нашла в приложении № 3 пункт о том, что риск случайной гибели товара переходит к покупателю «с момента достижения договорённости о цене». Звучит безобидно. Переведу: цена согласована сегодня, акт приёма-передачи подписывается через месяц, и всё, что случится со складом в этот месяц, — пожар, потоп, фура, влетевшая в ворота, — оплачивает моя клиентка. Так пишут люди, которые очень рассчитывают, что дочитывать не будут.

— Мы убираем этот пункт, — сказала я. — Или переносим переход риска на дату подписания акта. Как во всём цивилизованном мире.

— Это стандартная редакция! — директор по развитию Станислав Юрьевич поставил стакан так осторожно, будто сдавал оружие. — Мы всегда так работаем!

— Значит, теперь вы будете работать иначе. — Я улыбнулась. Улыбка в арсенале юриста — инструмент, а не эмоция, и пользоваться ею надо по назначению.

— Тамара Викторовна, — Станислав Юрьевич повернулся к моей клиентке и заговорил вполголоса, ласково, как с испуганной птицей, — вы же понимаете, что такие правки задерживают сделку? Банки, согласования, риски...

— Понимает, — сказала я за неё. — Мы репетировали. Вы задаёте этот вопрос третий раз, и ответ не меняется: пункт идёт под нож или сделка идёт вон.

Тамара, моя клиентка, за моей спиной пережёвывала губу — помада к этому часу съехала в угол. Склад достался ей от мужа вместе с кредитом и обидой, и я за свои семь лет насмотрелась таких наследств, чтобы не удивляться ничему, кроме мелкого шрифта.

— Да кто вообще читает эти приложения?! — не выдержал Станислав Юрьевич минуты через три.

— Я, — сказала я. — Поэтому ваша компания до сих пор не владеет складом, который «выкупила».

Его коллеги посмотрели на меня с той особой ненавистью, которая у юристов означает уважение. В десять вечера контракт был подписан в моей редакции, Тамара расцеловала меня в обе щёки, а Станислав Юрьевич пожал мне руку с силой человека, который проиграл за столом переговоров, но ещё не всё проиграл в спортзале.

Без четверти одиннадцать я сидела в пустом офисе и пила остывший кофе из бумажного стаканчика. Я люблю этот час: между «подписано» и «завтра» не существует ни одного человека, желающего что-то подписать. Единственное время, когда моя профессия мне не враг.

Забавная деталь: чувство безопасности мне в тот вечер обеспечивала не профессия. Профессия, как я скоро узнала, вообще мало что обеспечивает. Договоры лишь фиксируют, кто и как тебя разведёт.

Телефон зазвонил в 23:04. Незнакомый номер.

— Севастьянова Маргарита? — Голос был немолодой, ровный и тихий, как шорох бумаги. — Представляю интересы клиента. Вам предложат экспертизу подлинности одного документа. Пергамент, предположительно шестнадцатый век. Выездная работа. Сегодня.

— Сегодня одиннадцать вечера.

— Оплата втрое выше вашей обычной ставки. Предоплата сто процентов, реквизиты уже в вашем банке. — Он сделал паузу и добавил тем же ровным голосом: — Клиент просил не называть его имя. И заплатил за неназванность отдельно.

По идее, дальше я должна была спросить: «Сколько — отдельно?» Я спросила. Цифра оказалась такой, что моя ипотека на пятнадцать лет встала по стойке смирно и отдала честь.

У юристов есть присказка: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. К платному сыру, который втрое дороже рынка, присказка относится хуже: он бывает только в мышеловке с подогревом. Я знала это, перекладывала сознание со ставки на ипотеку и обратно — и всё равно сказала: «Выезжаю». Не ради сыра. У каждого есть слабость, за которую не платят логикой; у меня — документы, которые старше самого понятия «документ». Настоящий пергамент, пятьсот лет от роду, лежит в чужом доме и ждёт именно меня. Юрист во мне в этот момент плевал с высоты приложения № 3.

В моей практике три красных флага подряд — анонимный клиент, срочность ночью, переплата без торга — означают, что флаги врут и на самом деле это один большой флаг другого цвета. Я взяла дело.

Гонорар был единственным пунктом этого договора, который меня полностью устраивал. Остальные пункты я, как выяснится позже, подписала не читая. Иронию оценят историки моей профессии, если у неё останутся историки.

Курьер приехал через сорок минут: серая куртка, серый конверт, лицо, которое не запоминается по проекту. В конверте — адрес, расчётный лист, ничего лишнего. Адрес — особняк в старом переулке за Садовым, дом без вывески, калитка без номера. В полночь мне открыл человек в перчатках.

* * *

Представителя звали никак — он не представился. Лет пятьдесят, серые глаза, костюм, который шили, а не покупали, и перчатки: он не снял их даже открывая дверь. Это стоило бы записать в флаги, но бумага у меня кончилась.

— Господин Г. не сможет присутствовать, — сказал он. — Документ на столе. Инструменты вас устроят?

«Инструменты» — это про мой чемоданчик: ультрафиолетовый фонарь на 365 нанометров, лупа десятикратная — старая, с царапиной на оправе, съездившая со мной все семь лет практики, планшет, эталоны. Я работаю со старой бумагой достаточно давно, чтобы по выделке и обрезу сказать о листе то, что криминалист говорит по отпечаткам.

Комнату вычистили под экспертизу: голый паркет, единственная лампа, стол посреди круга тёплого света. Пахло стеарином и пустотой — ни пыли, ни быта, ни человека. Я сняла сумочку с плеча и оставила её у ножки кресла: с ней за столом неудобно.

На столе, на бархате, лежал свёрнутый пергамент.

Увидев его, я забыла про перчатки представителя, про ипотеку и про то, что полночь давно не моё рабочее время.

Пергамент был прекрасен. Телячья выделка, ровная, с тонким жирным блеском; на просвет виднелись продольные волокна — такие не повторяет никакая машина, только руки, и руки эти стоили дороже, чем вся моя квартира вместе с остатком ипотеки. Обрез по краям был острым — я отметила это машинально, как отмечают мокрый пол. Я развернула лист. Две колонки текста. Левая — латынь, её я читаю со словарём и заслуженной гордостью. Правая — алфавит, которого я никогда не встречала: знаки тонкие, вертикальные, похожие на счётные палочки, которыми кто-то очень терпеливый пересчитывал что-то бесконечное.

По структуре это был договор — я поняла это раньше, чем по языку. Преамбула. Предмет. Обязанности сторон. Шапка стандартная, как у всего, что люди подписывают с начала времён. Внизу два места для подписей: «Сторона 1» и «Сторона 2».

Первая подпись стояла. Вторая строка была пуста.

Я работала два часа. Проверки провела все, какие позволяют средства и ночь: вторая лампа из чемоданчика, другой угол падения света, проба на влажность по краю — сухо, сухо так, будто лист последние сто лет держали в вакууме. Чернила не смазались даже там, где их касалась ткань перчатки. Всё указывало на одно: передо мной не находка, а чудо.

Лупа показала: чернила железо-галловые, с бурой осыпью по краям строк; осыпь старая, вековая. Датировала я по выделке и степени выцветания: конец пятнадцатого — начало шестнадцатого века. Пятьсот с небольшим лет. Состояние музейное. Я уже мысленно составила заключение «подлинник» и прикидывала, что сделаю с премией.

Потом я включила ультрафиолет.

Под лампой старые чернила гаснут — это норма, криминалистика бумаги, первый курс. На моём листе, когда я повела фонарём вдоль строк, погасло именно то, что должно было погаснуть. А поверх проступило другое.

Свежее.

Другие чернила шли по тем же строкам, буква в букву, — тоньше, ровнее, увереннее. Они блестели. Они были влажными. Свежие чернила на пятисотлетнем пергаменте — это не загадка, это диагноз: подделка. Но подделки так не делают. Подделывают старое, имитируют время, морят лист чаем. Никто не берёт идеальный музейный пергамент и не подписывает поверх свежим — это всё равно что вскрывать сейф и оставлять внутри визитку.

Получалось, что передо мной лист, которому пятьсот лет, и чернила, которым ноль секунд. Одновременно. В одной строке.

— Пергаменту лет пятьсот, — сказала я вслух. — Чернилам — минута.

Представитель не переспросил, что это значит. За все два часа он не шевельнулся: сидел в тени, как гипсовый бюст, который забыли увезти. Я заметила, что дышу ртом, и заставила себя закрыть рот.

Я решила зафиксировать находку и провела пальцем по краю листа, придавая ему плоскость. Обрез острый — свойство выделки, а не дефект; я порезалась об такие обрезы уже дважды в карьере и оба раза заклеивала палец пластырем прямо на рабочем месте, как истинный профессионал.

Третий раз оказался как первые, только глубже.

Капля крови, крупная и тёмная, легла внизу правой колонки. Точно на пустую строку. На строку «Сторона 2».

Кровь не растеклась пятном. Она впиталась мгновенно, как в промокашку, — а пергамент так не делает. Пергамент держит кровь на поверхности годами; я видела такие пятна, их фотографируют и не дают дышать рядом.

Строка под моим пальцем шевельнулась.

* * *

Я отдёрнула руку так резко, что зацепила лампу. Свет качнулся, тени качнулись следом.

Палец не болел. Вообще. Капля, которая секунду назад была тёмной, теперь казалась чернильной, и я не могла сказать, где кончается кровь и начинаются чернила.

Буквы правой колонки плыли. Знаки-палочки распрямлялись, вытягивались, складывались в знакомое — в кириллицу, в буквы, которые я читаю с пяти лет. Строка заполнялась сама, слева направо, спокойным рукописным почерком.

Моим рукописным почерком. С моей заглавной, которую я вырабатывала в школе и проклинала в университете. С моей запятой, которую я всегда ставлю, придавив её к бумаге.

Я не двигала рукой. Я держала её на весу, как чужую, и смотрела, как мой почерк пишет на расстоянии тридцати сантиметров от меня.

Я попыталась классифицировать происходящее. Привычка. Юрист классифицирует всё: событие, ущерб, вину, сроки давности. Ничего подходящего не нашлось. «Введение в заблуждение» в моём мире не покрывало случаев, когда в заблуждение вводит пергамент.

Тогда я сделала единственное, что умела в ситуации, не описанной ни одним кодексом: проверила факты. Телефон лежал на столе, экран горел ровно; до полуночи оставалось шесть минут. Я взяла его — и экран погас. Не выключился, не потемнел: погас, как гаснет разговор, когда в комнату входит тот, ради кого стоило замолчать. Кнопки не работали. Стекло отражало моё лицо, а под стеклом была тьма, и на ощупь — через стекло — она была тёплой.

Я оглянулась на представителя.

Стул за моей спиной был пуст. Не «человек встал и вышел» — стул был пуст так, будто на нём никто не сидел с самого начала. Я проверила бы и пыль, но пыли в этой комнате не было ни на чём. Я профессионал, я проверяю.

В комнате был туман.

Он поднимался от самого пола, от плинтусов, от переплёта, как пар из чашки, — белый, густой, медленный, и пах от него не сыростью. Хвоя и снег. Так пахнет лес в двадцать градусов мороза, когда стоишь посреди него одна и слышишь, как снег под ногами не скрипит, а звенит. В Москве в начале декабря так не пахнет ничего. И ни в каком другом декабре тоже.

Звук в комнате стал глуше, как бывает под снегом. Свет лампы стал тонким, как нить. По ту сторону тумана, там, где минуту назад была дверь, раздался голос. Господина Г.

Это был язык, которого не существует. Не «которого я не знаю» — незнакомый язык я узнала бы: он звучал бы глухо, слитно, по-своему музыкально, как звучат все человеческие языки. Эти звуки не были предназначены для человеческого рта. Они шли мимо слуха, куда-то под ребро, и заворачивались там холодом.

А строка внизу листа закончила выводиться.

Последняя буква легла ровно. Моя запятая заняла своё место. И под словами «Сторона 2» красовалось то, что я прочла дважды, трижды, — потому что читать мелкий шрифт я умею лучше всех в этом городе, а здесь и читать было нечего: буквы были крупные.

«Сторона 2: принята», — написал мой почерк.

Я такого не писала.

Ещё.

Технический отчёт по главе 1 (редакция 2)

Объём: 12 194 знака с пробелами (без заголовка, подсчёт как в статистике Word). Коридор допуска: 10 200–13 800 (цель ~12 000, допуск ±15%). Статус: в коридоре, у цели. Исходная редакция — 11 780; правка дала +414 за счёт сенсорных деталей и сшивки с главой 2, минус дублирующие пояснения.

Статус редакции: редакция 2 — рабочая каноничная для публикации и вычитки. Исходник сохранён без изменений: Глава_1_Мелкий_шрифт.docx / .txt в папке проекта.

Что изменено: сцены — 5 042 / 4 277 / 2 875 (пропорция убывающая, как и было). Правки: 1) образы — «будто у него была грыжа» → «будто сдавал оружие», «подделывать банковскую поддержку» → «вскрывать сейф и оставлять визитку», «потеплел на глазах» → действие («заговорил вполголоса, как с испуганной птицей»); 2) снята пуантная ровность — убраны «Классика жанра», лишнее «повторяла себе это», хвост «будто встали»; 3) сенсорика — декабрьская ночь за стеклом, помада Тамары, стеарин и пустота в особняке, звук «под снегом» перед голосом Г., кофе из бумажного стаканчика; 4) телесная трещина в самообладании — «дышу ртом» после ультрафиолета; 5) обрез посажен дважды («отмечают мокрый пол» → порез) — усиливает «чьими чернилами» в гл. 2.

Якоря сохранены дословно: финал «Сторона 2: принята» / «Я такого не писала.» / «Ещё.»; реплики звонка в 23:04 и «Господин Г. не сможет присутствовать…»; «— Я, — сказала я. — Поэтому ваша компания до сих пор не владеет складом…»; «Пергаменту лет пятьсот… Чернилам — минута»; сиды Гварта 3 из 3; «хвоя и снег»; тёплый мёртвый телефон; «стандартная редакция» Станислава Юрьевича; семь лет практики.

Связки с главой 2 (устранённые разрывы): сумочка теперь показана в гл. 1 — «сняла сумочку с плеча и оставила её у ножки кресла» (гл. 2: «оставленная в особняке у ножки кресла»); лупа десятикратная с царапиной на оправе — синхронизирована (гл. 2: «с царапиной на оправе: на третьем году практики я уронила её на бетон»); первое слово гл. 2 «Перехода» по-прежнему закрывает «Ещё».

Правила конвейера: реплик-якорей не менять дословно при дальнейших правках; редакция 2 применяется и к гл. 2 при вычитке только в части симметрии деталей; объём главы 3 «Долг имени» — 13 000 ± 15%; первый POV Кассиана — глава 13.

Глава 2

НЕВЕСТА ПО ЧУЖОМУ ДОГОВОРУ

ГЛАВА 2. ТАРНХЕЙМ

Романтическое фэнтези · 18+

Перехода я не заметила. Готова поклясться под присягой: между «Ещё» и этим снегом не было ничего — ни падения, ни темноты, ни секунды, которую можно было бы опротестовать. Так выключают не свет. Так выключают сцену — вместе с театром.

Я стояла в снегу. По колено, в офисном пальто и туфлях на каблуке, посреди ельника, под небом, усыпанным звёздами так плотно, будто их здесь никто не экономил. Мороз держал меня за горло — спокойно и без лишних вопросов, как охранник, которому уже заплатили. Пахло хвоей и снегом — тем самым запахом из особняка. Тогда он был гостем. Теперь он был хозяином.

Я сделала единственное, что умела: инвентаризацию. Пальто — на мне. Туфли — на мне, и это была моя ошибка, зафиксированная самим фактом существования. Телефон — в кармане: экран тёплый и мёртвый, как дверь, за которой никого нет. Палец с порезом — мой, родной; кровь высохла тёмной плёнкой, и я отказывалась думать, чьими чернилами она стала. Деньги, документы, ключи — в сумочке, которую я сняла с плеча у кресла в особняке и больше не видела. Руки — пустые.

Пергамент исчез.

Эту потерю я почувствовала острее, чем мороз. Вещдок не выпускают из рук — я семь лет учила этому других. Я выпустила. Точнее — лист выпустил меня: когда театр погас, я успела потянуться к нему, и между «Ещё» и снегом была половина моего шага. Половины не хватило.

Паника подошла и встала рядом, как вежливый курьер. Я отказалась от доставки. Паника — это кредит, который страх берёт под грабительский процент у будущего; я видела, как люди платят по такому кредиту. Вместо паники я выбрала процедуру: факт, направление, план.

Фактов было три: лес, мороз, тишина. Направление — вот это я могла. Я нашла Большую Медведицу: ковш, две крайние звезды, пять длин до Полярной — школьная астрономия, единственный предмет который пригодился мне в практике чаще римского права. Полярная светила на севере. Я повернулась к ней спиной и пошла на юг — туда, где по всякой логике должны быть люди.

Лес шёл стеной: ели стояли тесно, плечом к плечу, и не торопились расступаться. Снег под ногами не скрипел — звенел, тонко, на одной ноте, будто глубоко под настом тянулась единственная струна. Через двадцать минут сломался левый каблук — коротко, как щёлкает затвор. Я устояла и пошла дальше, заваливаясь влево. Худшая из моих проблем — каблук. Хорошая новость.

Я считала шаги — привычка, не польза. На очередном счёте мне навстречу попалась сломанная ветка: белая сердцевина, рванный край, высота моего плеча. Час назад я отметила её про себя: свежий слом, снег примят. Юристы запоминают детали, которые потом врут. Эта деталь врала громко.

Я остановилась и проверила небо. Большая Медведица, которую я оставила за спиной, висела теперь передо мной, как экспонат под стеклом.

Второй заход я провела по протоколу. Оторвала от подкладки пальто лоскут, повесила его на сломанную ветку, на белую сердцевину, и пошла в прежнем направлении — строго на юг, шаг в шаг. Я вышла на ту же прогалину. Ветка висела на месте. Лоскут тоже. Он висел ровно, с честностью вещи, которой всё равно: врать он не умел.

Три часа я шла строго на юг. Вышла на север. Дважды.

Это не значит, что я плохо хожу. Это значит, что лес возвращает. Не путает — возвращает: ветка, лоскут, звёзды — всё сходилось в одну точку, как доказательства в деле с готовым приговором. За три часа Медведица ушла по кругу ровно на положенное: небо вращалось честно. Врали не звёзды — врал лес. Правило мира я установила эмпирически: без объяснений, на двух независимых прогонах. Лес не выпускает. Точка.

На исходе третьего часа, когда я уже прикидывала, сколько минут человек держится на морозе в офисном пальто, между стволами качнулся жёлтый огонь. Фонарь. Человек с фонарём. Он стоял неподвижно, как пограничный столб, и не звал меня. Распределение ролей стало ясно без протокола: меня не искали. Меня ждали.

* * *

Слугу звали никак. Он был высок, стар и одет в серое: ливрея цвета мокрого камня, на горле — серая повязка, завязанная крест-накрест, как бинт. Фонарь он нёс в левой руке, ровно, как несут не вещь, а должность. Лицо — стёртое, спокойное, без единой личной детали: лицо человека, который век ходит одними и теми же коридорами.

Он пошёл вперёд, не оглянувшись, с той уверенностью, с какой ходят по собственному двору, и мне ничего не оставалось, кроме как шагнуть следом. Куда — было понятно: других направлений этот лес не выдавал.

По дороге я испытала на нём свой арсенал — так тестируют дверь: ручка, ручка, ручка. Вопросы: «Где я? Кто вы? Чей это лес?» — по-русски, по-английски, латынью. Потом требования: объяснить моё положение, назвать работодателя, соединить с консульством и адвокатом. Ноль реакции — не грубая, химически чистая. Он не игнорировал меня: игнорирование выражает отношение, а здесь не было отношения. Здесь не было слуха.

Проверку я всё-таки провела: провалилась в яму под настом, по колено, с хрустом. Слуга остановился, постоял, пока я выбиралась, и пошёл дальше, когда пошла я. Значит, слышал. Значит, молчание было не недостатком, а условием: где-то по нему шла отдельная строка, кто-то держал его, как держат залог. Кто и за что — я узнаю. Я всегда узнаю.

— Вы имеете право хранить молчание, — сказала я слуге. Наконец-то в этом мире кто-то пользуется им по назначению.

Туман поднимался от снега и вёл себя прилично — лежал, как гора бумаг на столе, который никто не решается разобрать. Лес смыкался теснее, и я поймала себя на том, что иду тише: не потому, что боялась шума. Шум здесь был бы неуместен, как аплодисменты в нотариальной конторе.

Замок я увидела не сразу — он не показывался, а проступал, как буквы под ультрафиолетом. Чёрный камень, узкие окна, крыша уступами, уходящая в звёздное небо. Никакой вывески. В Москве дом без вывески был для меня первым флагом; здесь вывесок не было ни у кого: не существовало другого формата.

Ворота: створы в шесть моих ростов, чёрное дерево, железо, засов толщиной в руку. Слуга положил на засов ладонь — и тот отошёл сам, как отодвигается стул, когда входит начальство. За воротами лежал двор, гладко занесённый снегом, — и ни одного следа. Ни звериного, ни человеческого. Либо здесь никого не было, либо здесь умели подметать. Я записала оба варианта в флаги.

У крыльца, между колоннами, стояла женщина с подсвечником и ждала. Я уже не удивлялась. Правило я поняла раньше, чем смогла бы его сформулировать: в этом доме всё делается заранее.

* * *

Женщине было за шестьдесят; та же серая повязка на горле, тёмное платье, связка ключей на поясе — обёрнутых в войлок, чтобы не звенели. В этом доме даже металл знал правила. Она не поклонилась и не представилась; подняла руку жестом «прошу» и повела меня внутрь.

Холл был размером с церковь. Свечи горели в канделябрах ровно, без трепета, — пламя стояло столбиком, как подчинённое. Вдоль стен висели портреты — под серым полотном все до одного, как улики под сукном. Я прошла под ними, задрав голову: полотна не шелохнулись.

Комната, которую мне назначили, была на третьем этаже, с камином и окном на лес. На стуле у окна лежали сапоги: меховые, мягкие, явно новые — и ровно моего размера. Я не сообщала этому дому свой размер. Сбор персональных данных без согласия субъекта юрист замечает всегда. Особенно когда субъект — она.

На столике у камина стоял поднос: суп на костях, хлеб, что-то горячее в горшочке. Пар шёл ровной колонкой — единственное в этом доме, что двигалось свободно. Я съела всё, до дна: еда в осаде не бывает лишней.

Домоправительница — так я её мысленно окрестила; имени у неё не было, — объяснялась карточками с ровным старинным почерком: перепиской, в которой ответ не предусмотрен. «Ужин в восемь», — говорила первая. Я выложила свой список: где я, кто ваш работодатель, как вернуться, с кем говорить. В ответ она протянула ту же карточку. «Ужин в восемь». Про Москву. Про телефон. Карточка не менялась. У Станислава Юрьевича на всё существовала «стандартная редакция». Здесь стандартной редакцией был ужин.

Потом я увидела стол — письменный, ореховый, с лампой под зелёным стеклом. Его поставили сюда для меня: в этом доме не приглашают словами, приглашают предметами. На нём лежал пергамент. Я узнала его раньше, чем поняла, что узнаю: обрез, светящийся, как лезвие; две колонки; жирный блеск телячьей выделки. Мой лист. Тот самый, из особняка за Садовым, — тот, которого я не удержала. Теперь он лежал в моей комнате — на виду, спокойно, как папка к утреннему совещанию.

Над преамбулой стояло заглавие, которого вчера в Москве не было: «НЕВЕСТА ПО ПРАВУ ДОЛГА». Буквы были старые, спокойные. Так не бывает: заглавия не появляются. Заглавия всплывают — у документов, которые знают, зачем они существуют.

Правая колонка снова была палочками: знаки застыли обратно в счётное письмо, как вода уходит в лёд. Из левой, латинской, я вытащила на холодную голову два слова. «Conditiones» — условия. «Sponsa» — невеста. Латынь не юлит; у этого языка нет сносок.

Внизу, в блоке подписей, под «Стороной 1» стояла чужая подпись — выцветшая до цвета ржавчины, с размашистым росчерком человека, который не сомневается, потому что не читает. А под «Стороной 2»…

«Подделка», — сказала я себе. Это моя подпись до последнего росчерка. Кроме даты. Даты ещё не существует.

Я проверила так, как умею: под лампой и на просвет. Заглавная «М» с занозой в верхней арке — я вырабатывала её в школе и не меняла пятнадцать лет. Запятая, придавленная к бумаге, — моя: я всегда придавливаю. Никаких следов пера поверх чернил. Подделка требует исполнителя, исполнитель — мотива, мотив — денег. Деньги в этой комнате не лежали. Лежала подпись.

Под подписью шла строка «Число подписания». Она была пуста. Это была единственная хорошая новость за ночь. Подпись — согласие. Дата — момент, с которого согласие включается. Сделка без даты — не закрытая сделка. Между моим согласием, пролитым кровью, и моментом его работы существовал зазор. Ширина зазора была неизвестна. Зазор был.

Я вернула лист на место, ровно так, как он лежал: дома любят порядок. Ужин был в восемь; до ужина оставалось ровно на одну проверку — у всякого договора есть предел действия, и юрист, который не осмотрел границу, не заслуживает гонорара. Я вышла сразу.

У двери домоправительница обернулась и протянула мне последнюю карточку: «Если понадоблюсь — позовите. Вас услышат». Я смотрела на ровный старинный почерк и думала, что слово «услышат» — самое честное слово, которое мне здесь сказали.

* * *

Вниз я пошла в своём пальто и чужих тёплых сапогах моего размера, быстро и ровно, с лицом человека, который не опаздывает: судебные и переговорные марафоны вырабатывают такую походку лучше любого тренера. Домоправительница шла следом с фонарём. Не преграждала путь, не переспрашивала. Сопровождала — так сопровождают не нарушителя, а процедуру.

Во дворе, у распахнутых ворот, ждали трое: слуга с фонарём и ещё двое, серые, с повязками. Они не встали мне на дорогу — они уже стояли на ней, вдоль створок, как почётный караул. Лес за ними стоял до самых звёзд — и не делал вида, что расступится.

Уходить я собиралась по протоколу. Вслух, при свидетелях, я потребовала: препроводить меня к ближайшей дороге или почте; сообщить имя стороны, которой меня передали; составить опись изъятого имущества — начиная с меня самой. Я говорила спокойно и аргументированно — это входило в мой гонорар. В ответ домоправительница протянула мне карточку.

«Невеста приехала». Два слова. Тот же ровный, старинный почерк. Ни подписи, ни даты — в этом доме даты ставят неохотно. Я подняла глаза от карточки и встретила взгляд домоправительницы: спокойный, внимательный, серый. Взгляд человека, который сообщил мне всё, что считал нужным.

Потом ей подали сумочку. Она приняла её двумя руками и передала мне — так передают не вещь, а статус. Чёрная кожа, молния, потёртые углы. Моя. Та самая из Москвы, оставленная в особняке у ножки кресла, за два мира отсюда. Молния была расстёгнута ровно наполовину — аккуратно, как расстёгивают, проверяя содержимое. На ручке, затянутая под неё, висела серая пломба с одной-единственной литерой: «Г». Господин Г. не потерял из виду ни экспертизу, ни её результат: багаж был сопроводён до марки, от двери до двери. Так пломбируют груз, а не гостью.

Когда я приняла её, из бокового кармана выскользнула и ушла в снег лупа. Десятикратная, с царапиной на оправе: на третьем году практики я уронила её на бетон и с тех пор берегла. Семь лет она ездила в боковом кармане сумочки: рабочая оптика не живёт на полу. Я подняла лупу, отряхнула от снега. Линза была тёплой. Точно так же был тёплым телефон в тот момент, когда комната начала исчезать. Вопрос о том, у чьих вещей был в пути прямой рейс, я сняла с повестки.

Я стояла на границе — там, где кончался двор и начинался лес, — с сумочкой на сгибе локтя: со всем имуществом, которое этот мир счёл нужным мне вернуть. Из Москвы меня вытащил один документ. Обратно меня не выпустил один лес. Всё остальное — суп, сапоги, сумочка — было вежливостью кредитора.

Прежде чем повернуться к дому, я оглянулась — привычка фиксировать то, что попадёт в протокол. На третьем этаже, в узком окне напротив моего, стоял кто-то ещё. Высокий, в тёмном, неподвижный. Не прятался: смотрел, как работает его дом. Лица я не разглядела — только осанку человека, который привык, что его ждут. Дом не имел права выпустить меня. Но и он не имел права заставить меня вернуться — а я возвращалась. Об этом стоило подумать за ужином.

Мне не задали ни одного вопроса. В этом мире я уже была Стороной 2 — без права на возражение.

Домоправительница дождалась, пока лупа займёт место в боковом кармане, и повела меня обратно — через двор, где в чёрном камне одно за другим зажигались окна. Ужин в восемь. Я шла через снег со всем, что у меня осталось от прежней жизни: лупа в кармане, лес за спиной — и сумочка из Москвы на сгибе локтя.